

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА

ОРГАН ПРАВЛЕНИЯ
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Год издания 31-й
№ 12 (4137)
Четверг,
28
января
1960 г.
Цена 40 коп.

КРИТИКА в течение десятилетий творчества легенду о Чехове.

Точно мсти ему за его «странность» и несходство с другими писателями, его обзывают «человеком без идеалов», «равнодушным лоядом», «специалистом сумеречных настроений». Но были в те годы, когда Чехов только еще «начинался», читатели, удивительно глубоко итонко понимавшие, какая народила на Руси своеобразный, новый и нужный людям талант. Среди них были Григорович и Короленко, Лев Толстой и Максим Горький. Становилось ясным — пути, которыми только начал прокладывать Чехов, ведут в будущее.

Творчество Чехова — целый этап в развитии русского реализма. Он стал учителем нескольких поколений писателей, русских и зарубежных. Своим прямым наставником считал его Горький. Учителем называют его в наши дни многие крупнейшие писатели Европы и Америки.

Мы празднуем юбилей крупного художника не ради славословия, а, как говорил В. И. Ленин, «для усиления своих задач, для усиления настоящего исторического места писателя», который так много сделал для развития русской и мировой литературы.

Я ВАС ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ

Больше всех я люблю двух русских писателей: Льва Толстого и Антона Чехова. Но если к Толстому я отношусь как к недостижимому образцу писательского искусства, как к патриарху всемирной литературы, то мое отношение к Чехову более искромешно. Оно проникнуто глубокой любовью, я его люблю, как брата. Конечно, он тоже является недостижимым образом, но я его не боюсь. Я верю его добру, его глубокой гуманности, и я даже перевожу его произведения напольский язык без страха, что он меня за это мог бы побранить. Большая радость для меня эти переводы. С каким удовольствием подгружалася в эту спокойную стихию, которую является чеховская проза, словно в воде большого, спокойного озера. Его фраза, его образ всегда ясны и определены, но за ними всегда таится свойственная только Чехову улыбка. В ней отражаются своеобразная, чистокровная любовь к человеку, к его будничному дню, к его работе и сердечное, несентиментальное сочувствие человеческим страданиям.

Этот глубоко гуманный облик Чехова, который виден у него ведро — в ранних, и, в последних, рассказах, в его драмах, эта чащающая, несколько виноватая улыбка, которой он скрывает изрядное значение человека, пленяет меня больше всего, когда я раскрываю его книги, когда я вижу его пьесы. И мне всегда хочется сказать ему: Антон Павлович, я вас очень люблю. Вы на редкость добрый и умный человек.

Ярослав ИВАШКЕВИЧ

ВАРШАВА

А НЯ. — Прощай, дом!
Прощай, старая жизнь!
Трофимо! —
Здравствуй, новая жизнь..

Почему именно этот день вспоминал мне, когда я подумал о Чехове? Не потому ли, что эти слова Петра Трофимова мне почастились не одну сотню раз произнести в спектакле Художественного театра «Вишневый сад»?

Нет. Причина в ином. Мне кажется, что в простом и сердечном призывае «вечного студента» прорвались самая звягтая, самая дорогая мечта великого творца «Вишневого сада». И не этой ли своей упрямой и несгибаемой верой в новую, большую, благородную жизнь, в Человека так бесконечно дорог каждому Чехову?

Играть Чехова — счастье потому, что играть его в привычном, традиционном смысле нельзя. Здесь необходимо все свои мысли, все помыслы подчинить высоким и светлым чеховским требованиям к жизни. Нельзя работать над ролью из чеховской пьесы, не читая и не перечитывая писем Антона Павловича, его записок книжек, воспоминаний о нем современников. Невозможно начинать работу над чеховским произведением, не представив себе в самых мельчайших деталях, каким был их создатель. Быть может, поэтому, хотя я, конечно, никогда не встречался с Антоном Павловичем, мне кажется порой, что я его видел. И даже не один раз.

Да, Чехов мог — если это было нужно — встать против враждебной ему силы, крепко, твердо и не

уступить ей. Ни в чем. Он был одним из самых гуманных, человеческих писателей, каких я знаю. Но гуманность его была бесконечно далека от всепроникающей мягкости. Он был, если так можно выразиться, певцом мужественной человечности. Он очень многим и очень многое не прощал. Не прощал во всем большей и благородной цели.

Поэтому именно этот день

Пути, проложенные Чеховым

только укладывается». В. И. Ленин в этих замечательных словах увидел ключ к пониманию многих — самых основных — вопросов, волновавших Толстого. Чехов, писатель следующего поколения, ясно увидел, как все «укладывается», и показал в своем творчестве, что это происходило не так, как нужно было огромному большинству населения России.

Внешне все было благополучно и мирно, протекал «мирный» период капиталистического развития. Но для огромного большинства населения первых стран, для сотен миллионов населения колоний и отсталых стран эта эпоха была «хищнической», гнётчем, мучением, ужасом, который был тем ужаснее, что казался «ужасом без конца».

Чехов настороживо и систематично разрушал буржуазные иллюзии благополучия и мира. Однажды Чехов так оценил роман Г. Сенкевича «Семья Поланецких»: «Цель романа: ублюдать буржуазию в ее золотых снах. Будь верен жене, молись с именем молитвенному, наживай деньги, люби спорт — и твое дело в шляпе и на том и на этом свете. Буржуазия очень любит так называемые «положительные» типы и романы с благополучными концовками, так как они успокаивают ее на мысли, что можно и капитал наживать и невинности соблюдать, быть зверем и в то же время счастливым».

Цели творчества Чехова были прямо противоположны задачам буржуазной литературы. Чехов разрушал «золотые сны». У него не было ни «положительных типов» в духе буржуазной литературы, ни рассказов с благополучными концовками.

В эпоху Чехова капиталистические отношения, искажая и изуродовав человеческую жизнь, проникли во все поры русского общества и с одинаковой ясностью отразились в крупном и малом. На этом и вырос главный художественный принцип Чехова, обостривший его писательское зрение. Крупные и мелкие несовершенства современной ему жизни стали перед его художественным взором как явная ненормальность, очевидная и не требующая многословных доказательств. Возникала ли эта ненормальность в виде вопиющей социальной несправедливости или как выражение безобидной мещанской пошлости, скучки, сознавала ли она представление о самодовлестве угнетателей или о подлой обезличенности угнетенных, о грубости сильных или об уродливости слабых, — для Чехова любая такая «несообразность», даже самая мелкая, свидетельствовала о глубокой испорченности всего жизненного уклада. Именно поэтому

Чехов настороживо и систематично разрушал буржуазные иллюзии благополучия и мира, учителям, безобразникам и пакостякам. С равной силой высмеивал Чехов угнетенных коллежских регистраторов, пресмыкающихся в запасниках перед сильными мира сего. Чехов прекрасно видел и понимал, что какой-нибудь чиновник, маленький, задавленный, притесненный, войдет в силу, сам становится притеснителем, к тому же гнусно злонатым.

Иногда в рассказах Чехова появляются люди, понимающие гнётчики «смешечки», даже ненавидящие их, даже критикующие пошлость жизни. Но и они не омыты симпатиями Чехова, потому что они «слишком рабки, вялы, ленивы... вместе того, чтобы бороться, они лишь кричат, называя свет поплыты, и забывая, что сама их критика мало-помалу переходит в пошлость».

(Окончание на 3-й стр.)

Мирза КЕМПЕ

ОН СМОТРИТ НА МЕНЯ

(А. П. Чехову)

Он видел — село солнце красным

шаром.

Как низко чертят чайка свою полет!

«А в человеке маленьком недаром

тоска по счастью счастливая живет.

Была бы жизнь вокруг —

вишневым садом.

Жить хочет для этой красоты,

но чтоб она сбылась — бороться надо,

здесь не спасут безвольные мечты,

Ошибка не ищу я оправданья,

но, жизнь мою от пошлости храни,

глазами доброты и понимания

вот и сейчас он смотрит на меня.

Перевод с польского

Владимир ЛЬВОВ

СВЕТ БУДУЩЕГО

играть полным голосом ознако- чало испортить в спектакле ясно силу чеховской любви к чистым, умным и тоинким людям, как сестры Прозоровы, и вск. силу его презрения к пошлости, мещанству. Это означало всеми своими актерскими, всеми душевными средствами передать желание чеховских героев оторваться от той жизни, которая их окружала.

И когда я вспоминаю об удивительной тишине в театральных залах Лондона и Парижа во время представления «Трех сестер», — так что порой казалось, будто зрители понимают каждое слово (хотя мы прекрасно знали, что это не так), — мне еще раз хочется вспомнить своего незабвенного учителя Немировича-Данченко. Это помог нам так по-чеховски возненавидеть пошлость мещанства во всех их проявлениях, что это сияло чувством, переключившим через рампу, сумело задеть зрителей Парижа, Лондона, Токио.

Она из английских рецензий о «Вишневом саде» nosida несколько экстравагантное название: «Московская метла». Критик этим хотел сказать, что советский театр как бы снял с пьесы паутину, которую ее затянула у них, в Англии. Под паутиной же он понимал традиционное английское истокованием пьес в духе элегии, насыщенное тоской по прошлому. Сейчас же странно подумать, что можно было так понимать «блединскую песнь» Чехова, созданную им в преддверии первой русской революции. И хочется сказать, что честь этого открытия во многом принадлежит одному из создателей Художественного театра — гениальному режиссеру Владимиру Ивановичу Немировичу-Данченко, поставил «Трех сестер» в 1910 году.

Мне посчастливилось быть участником этого спектакля и видеть, какая освещенность, безжалостность, разрушительная сущность той эпохи я нашла поддержку, а чайка Пети Трофимова, открывавшего пьесу, не подготавленный для этого, начал сидеть на фланелевом кресле, как камень на камне. И когда я вспоминаю об удивительной тишине в театральных залах Лондона и Парижа во время представления «Трех сестер», — так что порой казалось, будто зрители понимают каждое слово (хотя мы прекрасно знали, что это не так), — мне еще раз хочется вспомнить своего незабвенного учителя Немировича-Данченко. Это помог нам так по-чеховски возненавидеть пошлость мещанства во всех их проявлениях, что это сияло чувством, переключившим через рампу, сумело задеть зрителей Парижа, Лондона, Токио.

Она из английских рецензий о «Вишневом саде» nosida несколько экстравагантное название: «Московская метла». Критик этим хотел сказать, что советский театр как бы снял с пьесы паутину, которую ее затянула у них, в Англии. Под паутиной же он понимал традиционное английское истокованием пьес в духе элегии, насыщенное тоской по прошлому.

С большим подъемом делегаты избрали почетным президентом КПСС — Президиум ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС, П. Н. ПОСПЕЛОВ, тепло встреченными делегатами, огласил приглашение Центрального Комитета партии съезду, вызвавшее большую интересность.

Среди делегатов, избранных почетным президентом КПСС — говорится в приветствии — были представители политических и научных учреждений, работники культуры, интеллигенция, представители народного хозяйства, работники сельского хозяйства, промышленности, строительства, транспорта, здравоохранения, образования, науки, культуры, литературы, искусств, а также представители других отраслей народного хозяйства.

Академик М. Б. МИТИН сообщил в отчетном докладе, что в Обществе союза писателей СССР 900 членов. Они пронесли за один год 1959 года 7 300 тысяч экземпляров. Ни в нашей стране, сколько доказали, много миллионов работников интеллигентии.

Среди делегатов, избранных почетным президентом КПСС — говорится в приветствии — были представители политических и научных учреждений, работники культуры, интеллигенция, представители народного хозяйства, работники сельского хозяйства, промышленности, строительства, транспорта, здравоохранения, образования, науки, культуры, литературы, искусств, а также представители других отраслей народного хозяйства.

Академик А. А. БЛАГОНОРАВОВ выступил с докладом о развитии науки в СССР.

Затем начались прения.

Портрет работы А. Шульца

Первая встреча

Я ПОЗНАКОМИЛСЯ с Чеховым в 1920 году. Мне было лет пятнадцать, я был комсомольцем, заведующим избюльской коптилкой, мы получили еда ли не первое советское издание сочинений Чехова. Бумага была плохая, серая печать, листки разлетались, как только открыли томик. При свете коптилки я прочел «Степь». Она ужасно напоминала мне, и я стал искать ее продолжение — мне казалось, оно непременно должно быть, и удивился, что не находил его в сочинениях. Так я прочел «Человека в футляре». Я увидел, что Беликов — это директор той городской школы, в которой я после сельской учился два года. Он тоже носил форменную фуражку, синие очки, точно так же ходил в галоши и с зонтиком. Сходство было не только внешним. Мы жили в деревне, в двенадцати verstах от школы, были очень бедны. В семье была единственная пара обуви — материнские башмаки, которых мне не давали ходить в школу. Хоть бросай школу, а жалко было до смерти. Я набрался духу — попросил директора помочь мне достать обувь. Я знал, что он мог это сделать. Но он этого не сделал.

Тогда я понял, что литература — это не сочинительство, а раскрытие жизни.

Позднее много раз я читал и перечитывал Чехова, его произведения и письма, но уже совсем другими глазами — глазами писателя. Чехов кажется мне примером литературного подвига. Этот подвиг начался, на мой взгляд, с того, что он по капле выдавливает из себя раба. Если бы он не совершил этого подвига, он остался бы юмористом типа Лейбница. Но он поднялся с этой первой ступени до рассказов и пьес, посвященных борьбе за преодоление рабства в душе человека, за человека с большой буквы, за его будущее. Это он проложил рассказу дорогу в толстый журнал, ввел его в большую литературу.

В. СМИРНОВ

Чехов — это «Чехов»

РОМАНЫ ЧЕХОВА

БОЛЕЕ десятка лет назад один крупный художник в беседе с молодыми писателями высказал интересную мысль: чтобы до конца понять, например, пластичность Чехова, надо переписать несколько рассказов его от руки, посмотреть строй фразы, проследить течение мысли. будто вы сами пишете этот рассказ, изучить, как создает, лепит форму своих вещей великий русский мастер.

Видимо, совет этот имел определенный торический смысл: научить молодых писателей по рукописному тексту чеховской лаконичности и простоте, но не той безраздостной «простоте», которая не несет эмоционального восприятия и по известному русскому выражению «хуже воровства», а той, что является методом выражения сложности и противоречивости жизни, той, которая соизвестна мастеру, показывающему мир, отношения людей в скжатом художественном выражении — в рассказе.

По письмам Чехова известно, что в зрелом возрасте он мечтал написать роман, начинял его и бросал и продолжал писать рассказы, маленькие и большие, но всегда наполненные трепетом жизни, огромной мыслью общественного звучания, рассказы по значимости и полноте своей, я бы сказал, равные роману, поименованному нами, как жанр широкого социального обобщения.

Простота, лаконизм и пластичность Чехова изумили его читателей и не всегда признавались критикой его времени, но не могли поистине новатором в форме, которая и по сей день современна и действенна. Рассказ «Дама с собачкой» мог бы быть романом, все здесь как бы для романического сюжета: и сложная семейная коллизия, и поиски счастья, и внезапная и неожиданная любовь к женщине, которую встретил случайно, но Чехов написал рассказ, общественно прозвучавший как роман. «Скучная история» — это глубочайшее исследование человека, прожившего жизнь не понявшего ее и так и не нашедшего себя... тоже, по моему убеждению, рассказ-роман. «Дом с мезонином», «Попрыгунья», «Именники», «Моя жизнь...» — я мог бы перечислить множество чеховских рассказов, а по социальной емкости романов, с большой мыслью, с интимным проникновением в человеческую душу, но не ставших по жанру романами в силу, видимо, особой, чеховской склонности, соразмерности и сообразности, того един-

ства формы и содержания, что является законом настоящего искусства. Если можно так выразиться, Чехов написал рассказы или короткие романы на все случаи жизни.

Всем известны высказывания Чехова о том, что рассказ нужно начинать с середины, беспощадно выбрасывать не нужные общие описания, старомодные портретные характеристики и немногие затянутые пейзажи. Чехов болел с тусклой напыщенной литературой с устаревшей и вялой формой.

Особенность великого художника, на мой взгляд, это не только жизненный опыт, пристальное, особенное внимание к миру и понимание человеческих взаимоотношений, но, я бы сказал, и душевный опыт. Это познание мира в тоначайшей форме, познание всей гаммы человеческих чувств — от восторга и любви до ужаса и тоски. Человек может всю жизнь ездить по степи, знать и полет стрепета, и запах сена на заре, и запах угласающего костра, и видеть степных людей; от никогда не написать поэмы «Степь», никогда не понять, что увидел, понял и пережил художник, видевший степь коротко, но уже подготовленный душевным опытом. В душе художника уже были и Егорушка (может быть, впечатления детства писателя), и отец Христофор, и Кузьмич, и Варламов — художники прежде, не в стени, встречаясь с ними и наблюдая внимательно-пристально, и подсознательно образы этих живых в нем. Но вот он совершил поездку по степи, новые ощущения, новые встречи, новый тон жизни коснулись душевного опыта, и он переживает вместе с художником всю гамму чувств — от детских ярких и поэтических ощущений Егорушки до деловой озабоченности кузьмича.

Великий писатель с пытливым, жаждущим внимания к людям, а следовательно, с душевным опытом как бы всегда подготовленный воскресший в нашем сознании воспоминания, занялся ассоциацией и знакомством и неизнакомое каждому человеку, но все же знакомое...

Бывают писатели (это относится и к классикам), которые становятся особо близкими дорогими читателю в определенном возрасте, в связи с наполненным опытом чувств, зрелостью, пониманием жизни, что можно и не называть чеховским, прославившим пропагандистами ленинградскому скульптору Б. Воробьеву.

Эти фарфоровые статуэтки так выразительны, что можно и не называть чеховским героями, прославившим пропагандистами ленинградскому скульптору Б. Воробьеву.

Его первое столетие

НЕСКОЛЬКО МЫСЛЕЙ О ЧЕХОВЕ

ждать нового рассказа в журнале, новой пьесы на сцене...

Журнальные и газетные критики и рецензенты еще мерили его своим привычным арифоном, и каждый из них определял его рост по-своему.

Только Лев Толстой мог в то время сказать, что Чехов — это Пушкин в пропасти.

Ранняя смерть оторвала Чехова от нас и в то же время бесконечно приблизила к нам, поставив в один ряд с лучшими русскими писателями, чью память мы свято бережем.

До последних дней его частная жизнь оставалась в тени. Написанные им книги как бы заслонили его самого. И только когда он умер, явственно и четко проявился образ писателя, который и в жизни был так же талантлив, правдив и необыкновенно изящен, как в литературе.

Слава его стала всемирной. И это — лучшее доказательство того, что только писатель, верный своему народу и своему времени, может быть интересен и нужен другим народам и другим временам.

Годы идут, и чем больше отдаются они нас от Чехова, тем круче и значительнее представляется он нам и всему миру. День своего первого столетия он встречает в эпоху, изменявшую весь прежний — чеховский — быт его страны.

Он встречает этот день в стране, где читателем стал весь народ, признавший его своего — всенародным — писателем.

Люди еще многие мысли и чувства народа не ложатся на бумагу, не входят в литературную строку. У нас и сейчас еще не совсем вышли из моды каллиграфические завитушки.

И в наши дни есть еще немало людей, которые не считают поэтическими стихи Некрасова и родственных ему наших современников, то есть стихи, где написано многое житейские прописи.

И смерти, и счастья, и длинные зимы, и длиные ночи.

А ведь наличествует эта проза в стихах, в повестях и романах измеряется поэтической честностью, поэтической глубина, ею измеряется и художественное мастерство родительского наставника Чехова.

— Есть. Стrelы дальше».

«...Мы живы и здоровы, чего и вам желаю от господа... пана небесного...

— ...пара небесного... — повторила она и заплакала.

Больше ничего она не могла сказать. А раньше, когда она по ночам думала, то ей казалось, что этого не поместить и в десяти письмах... сколько за это время было в деревне всяких происшествий, сколько сведов, склерот. Какие были длинные зимы! Какие длинные ночи!..

— Чем твой зять там занимается? — спросил Егор.

— Не гони! — отвечает Василиса: — Небось, не задаром пишешь, за деньги!

Ну, пиши. Любезному нашему зятю Андрею Крисановичу и единственной нашей любимой дочери Ефимии Петровне с любовью низкий поклон и благословение родительского наставника Чехова.

Правда, этот готовый поэтический набор, который пользуются литературных мастеров, то и дело меняется. В одну эпоху — это зора, в другую — лапоть, в третью — синий платочек.

Но из-за плеча такого литератора, какими бы морды он ни придерживался, всегда выглядывает тот же писатель — «сыты, здоровы, мордастый, с красными затылок». набивший руку грамотей, который «может хончо писать...»

«В настоящее время, — писал он, — как судьба ваша через себя определяла на Всемирный Попрыгун, то мы Вам советуем заглянуть в Устав Дисциплинарных Бытовых и Уголовных Законов Всемирного Бедствия...»

Он писал и прочитывал вслух написанное, а Василиса собираяло о том, что надо было написать, какая в прошлом году была нужда, не хватило хлеба даже до съедки, пришлося прорвать хлеб...

«И поэтому Вы можете судить... какой есть враг Иоанисим и какой Внутренний. Первый наш Внутренний Враг есть: Бахус».

Перо скрипало, выделявая на бумаге завитушки... положение по адресу — «на деревню дедушке», не так страшно,

как эта писарская строка, в которую не могли войти ничего из живой человеческой жизни.

Чехов писал сдержанно и скрупульно.

«Ничего, гладко... дай бог здоровья. Ничего...»

Егор, изображенный в чеховском рассказе, — равнодушный писарь, «сыты, здоровы, мордастый, с красным затыком».

В поисках наиболее выразительного, единственно возможного слова писатель обращается не в одной лишь памяти, как вправ, припоминающий латинские названия лекарств.

Слова расположены в нашем сознании не порознь, не по алфавиту и не по грамматическим категориям. Они тесно связаны и способны поднять со дна нашей души целый мир воспоминаний, чувств, образов, представлений.

В поисках наиболее выразительного, единственно возможного слова писатель показывает безумие жизни: люди несчастны, люди считают, что так будет всегда, и вот в один прекрасный день происходит счастье, и никто не знает, почему оно пришло. Или все происходит наоборот. Это безумие жизни и необходимость противопоставить ему человеческую мудрость — вот что, конечно, не высказано Чеховым, потому что автор никогда не должен вмешиваться в события, но именно это читатель смутно угадывает в глубине чеховских рассказов, и именно это придает им величине.

Найти самое простое и в то же время самое меткое слово подчас гораздо труднее.

Вспомните описание зимнего вечера в чеховском рассказе «Припадок».

«Недавно шел первый снег, и все в природе находилось под властью этого морозного снега. В воздухе пахло снегом, под ногами мягко хрустел снег, земля, деревья, скамьи на бульварах — все было мягким, белым, морозом, и от этого дома выглядывали иначе, чем вчера. Фонари горели ярче, воздух был прозрачен, скамьи стучали глухо, и в души вместе со снежками, легким морозным воздухом пронеслось чувство, похожее на белый, морозный снег»...

Вот какими обычными, всем и каждому известными словами, дают нам ощущение первого снега Чехов. В чем же тут секрет?

В лирической сосредоточенности, в скрупульстве отбора точнейших подробностей, в том ритме, который передает нас в обстановку зимнего вечера города.

Писатель пользуется общепринятыми словами (хотя словарь его города шире и богач разговорного лексикона), но, мастер своего дела, он умеет так поставить слово в ряду других, чтобы оно играло всеми своими красками, звучало неожиданно, весело и ново.

Не боясь нарушить правила стилистики, Чехов в своем описании первого снега не один раз повторяет слово «снег», которое и само по себе — без эпитетов — может много сказать читателю. Пост встает в силу этого простого слова, как встает в него не искушенный в словесном искусстве взрослый человек или ребенок, для которого слова, такие же опущены и вспомогательны, как и самые предметы. Но, конечно, не в одном только слове «снег» сила и обаяние чеховских строк. В них есть и запах молодого снега, и мягкий хруст его под ногами, и заглушенный снегом скрип асфальта, в блеске снега, и прозрачность зимнего воздуха, от которого фоноры горят ярче обычного.

Вместе с Чеховым читатель не только видит этот первый «молодой» снег, но и слышит его поскрипывание, и вспыхивает скрип зимней волны, нахмущий снегом, и кажется, даже ощущает у себя на ладони холода, тающий снегинки.

Все пять наших чувств отзываются на это простое и в то же время магическое слово, которым так бережно пользуются в этом отрывке Чехова.

Его зимний вечерний пейзаж будет у читателя столько тонких, мильных серину ощущений, что он и сам начинает пропоминать нечто свое — такое, чего неизвестно Чехов.

Читатель перестает быть только читателем. Он становится участником всего, что пережил и перечувствовал автор.

«Вчера я был в деревне Бедствия, — писал он, — какой есть враг Иоанисим и какой Внутренний. Первый наш Внутренний Враг есть: Бахус».

Перо скрипало, выделяя на бумаге завитушки... положение по адресу — «на деревню дедушке», не так страшно,

иением жизни. Одни книги перечитываются несколько раз, иные единожды и ставятся на полку — злая гениальность и жестокость этих произведений вызывают влечения вновь прочитывать их, как порой тот или иной человек не испытывает сильного желания оглядываться на свое прошлое, где было все темно, все неизвестно безраздостно, мрачно и душно. В книгах этих со всем гениальностью и остротой выраженной мыслью: человек — писатель, подвластный воле природы, — затмевает солнце, стирает блеск снега, заглушает запах влажного сада будущего.

Чехова можно перечитывать десятки раз, открывая для себя все новые и новые глубины, радуясь и скорбя, смехом и плачем, — он свеж, он не теряет своей поэтической, своих акварельных, и густых масляных красок; мечты о том, что в человеке должно быть все прекрасно: лицо, обличье, одежду, и одежда, и душа, и мысли... Но все же и самим хочется сказать несколько слов, которые главным образом являются просто словами восхищения и благодарности гению Чехова, давшего нам и как гражданам, и как писателям нечто большое.

Может быть, эта свежесть Чехова для наших современников определена и тем, что мы, как писатели, не испытываем сильного желания оглядываться на свое прошлое, где было все темно, все неизвестно безраздостно, мрачно и душно. В книгах этих со всем гениальностью и остротой выраженной мыслью: человек — писатель, подвластный воле природы, — затмевает солнце, стирает блеск снега, заглушает запах влажного сада будущего.

Чехова можно перечитывать десятки раз, открывая для себя все новые и новые глубины, радуясь и скорбя, смехом и плачем, — он свеж, он не теряет своей поэтической, своих акварельных, и густых масляных красок; мечты о том, что в человеке должно быть все прекрасно: лицо, обличье, одежду, и одежда, и душа, и мысли... Но все же и самим хочется сказать несколько слов, которые главным образом являются просто словами восхищения и благодарности гению Чехова, давшего нам и как гражданам, и как писателям нечто большое.

Может быть, эта свежесть Чехова для наших современников определена и тем, что мы, как писатели, не испытываем сильного желания оглядываться на свое прошлое, где было все темно, все неизвестно безраздостно, мрачно и душно. В книгах этих со всем гениальностью и остротой выраженной мыслью: человек — писатель, подвластный воле природы, — затмевает солнце, стирает блеск снега, заглушает запах влажного сада будущего.

Чехова можно перечитывать десятки раз, открывая для себя все новые и новые глубины, радуясь и скорбя, смехом и плачем, — он свеж, он не теряет своей поэтической, своих акварельных, и густых масляных красок; мечты о том, что в человеке должно быть все прекрасно: лицо, обличье, одежду, и одежда, и душа, и мысли... Но все же и самим хочется сказать несколько слов, которые главным образом являются просто словами восхищения и благодарности гению Чехова, давшего нам и как гражданам, и как писателям нечто большое.

Может быть, эта свежесть Чехова для наших современников определена и тем, что мы, как писатели, не испытываем сильного желания оглядываться на свое прошлое, где было все темно, все неизвестно безраздостно, мрачно и душно. В книгах этих со всем гениальностью и остротой выраженной мыслью: человек — писатель, подвластный воле природы, — затмевает солнце, стирает блеск снега, заглушает запах влажного сада будущего.

Чехова можно перечитывать десятки раз, открывая для себя все новые и новые глубины, радуясь и скорбя, смехом и плачем, — он свеж, он не теряет своей поэтической, своих акварельных, и густых масляных красок; мечты о том, что в человеке должно быть все прекрасно: лицо, обличье, одежду, и одежда, и душа, и мысли... Но все же и самим хочется сказать несколько слов, которые главным образом являются просто словами восхищения и благодарности гению Чехова, давшего нам и как гражданам, и как писателям нечто большое.

Может быть, эта свежесть Чехова для наших современников определена и тем, что мы, как писатели, не испытываем сильного желания оглядываться на свое прошлое, где было все темно, все неизвестно безраздостно, мрачно и душно. В книгах этих со всем гениальностью и остротой выраженной мыслью: человек — писатель, подвластный воле природы, — затмевает солнце, стирает блеск снега

В ТЫСЯЧАХ И ТЫСЯЧАХ ИЕРОГЛИФОВ

В ПАСМУРНОЕ воскресенье 24 марта 1935 года Лу Синь записал в своем дневнике: «Ночью закончил перевод трех рассказов Чехова, всего около восьми тысяч иероглифов; полностью завершена работа над всеми 8 рассказами».

Лу Синь неизменно восхищался талантом Чехова, который был другом и близок его сердцу инрика и бояца, и в известной мере испытывал на себе влияние чеховского творчества. Еще в молодые годы во время учёбы в Японии он собирался перевести «Дульзь». Другие романы и замыслы в ту пору отвлекли писателя. Но Чехову он оставалася верен всю жизнь.

Позже Лу Синь писал, что читал Бокаччо и Гюго он и прелюбляет книги Чехова и Горького, «ибо они ближе к нашему миру», а однажды он прямо сказал, что Чехов — его любимый писатель.

Многие роднит этих двух мастеров слова, многое их объединяет, сближает.

Унылая, однообразная жизнь, китайские пришибеи, хамеоны и беликовы, точно так же коптившие небо в Китае, как и в старой России, боль за судьбу талантливых, бездаренных людей вызывала у Лу Синя и у Чехова, большую обиду за человека, рожденного печалью и гневом. Может быть, потому, что оба писатели были близки медицина, они умели зорко разглядеть болезни старого общества: оба страдали, видя страдания людей, стремились помочь, вселить надежду в человека, в силу

Близость творчества двух писателей, идеальной и духовной, казалась и в том внимании, которое оба уделяли «маленькому человеку», и в том, что оба они заговорили об ответственности интеллигентов перед народом. У Чехова — реалист китайский писатель Лу Синь учился не только глубине и зоркости видения, но и умению строить сюжет, не задерживаясь на второстепенном, побочном, стремясь лишь к тому, чтобы достаточно полно передать свои мысли.

Но Чехов и Лу Синь жили в разные эпохи. Отсюда и существенное различие в их творчестве. Первым это точно подметил Го Мэй-ю в своей статье «Чехов на Востоке», написанной 16 лет назад. «То, что творческая работа Лу Синя,— писал Го Мэй-ю,— протекала спустя более чем 30 лет после смерти Чехова, позволило ему, с помощью глазами увидеть победу Октябрьской революции в СССР и подъем прогрессивных сил в Китае... То, что Чехов еще не мог громко, во всеуслышание сказать, выразил Лу Синь и Горький». Советский писатель А. Фадеев в своем очерке писал о Лу Сине: «По духу он — рядом с Чеховым и Горьким. Два эти высказывания, китайского и советского литераторов, ярко показывают тесную, кровную связь творчества этих художников слова.

Р. БЕЛОУСОВ



На снимке: сцена из спектакля «Ли Ди Вань» в постановке Китайского театра молодежи (1954 г.)

Через всю жизнь

ЧЕХОВ приходит к нам в детстве и сопровождает нас всю жизнь так же, как Свифт, Сервантес, Пушкин, Толстой. Это — качество гениев.

Детами нас поражает история ряжих собачек, похожих на лисичек, помесь таксы с дворянкой, и путешествие Белоблого в волчьи норы, и ужасный, неправимый поступок малышика Ваньки Жукова. Это — на заре юности. Каждая книга открывается, как некизданый мир, и мир открывается, как книга.

Потом наступает увлечение Антошкой Чехонте, Чеховым «Осколком «Будильника». Нет ничего смешнее маленьких рассказов, где одни разговоры, — но какие! Ах, что за удовольствие читать всплеск про глупых чиновников, смешных помещиков, жалких актеров, крестьян с кудрявыми мозгами! А бесчисленные дачники, губернанты, гимназисты, женщины, кухарки, тетки, городовые, с которыми слушаются такие уморительные истории с неожиданными концами!

Ведут это смешило до слез, когда ловят налима. Кучер Василий лежит в воде: «Я синяк. Который тут налимы?»

Чехов любимый писатель юности. Он и сам юн в годы, когда создавались эти шедевры юмора, любит шутки, веселые выдумки его юношества, он работает упечно, с блестательной быстротой...

Мы становимся старше, и меняется наша любовь к Чехову. Она меняться всю жизнь. Она вырастает тихо и незаметно, как куст скрипки в саду. Уже не «Заблудшие», не «Переселенцы» восхищают нас, а поэтичный «Дом с мезонином», грустный и трогательный «Последний», рассказ о даме с собачкой, о добре Ольге Семеновне, которую называли «дущечкой», об учителе Беликове.

А потом нам открывается бескрайний, ошеломляющий простор «Степи», мы углубляемся в застенные глубины в «Крыжовнике», в «Мужиках», понимаем «Скучную историю», понимаем «Студента».

Нас пленяет театр Чехова. И еще остаются его письма, которые можно читать из конца жизни. Взание Чехова на мировое искусство огромно, даже трудно определить всю его громаду. Скажу лишь о частности. Чехов открыл величайшую сию недосказанного. Сиу, заключающуюся в простых словах и в краткости.

Чтобы увидеть волшебное применение этой силы, не надо даже брать лучше, знаменитые рассказы. Вот, например, маленький рассказ «Шампанское». Бродя рассказывает о своей загубленной жизни. Помните конец? Все основные события, вся житейская драма заключены в нескольких словах. «Нет, помню, что было потом. Кому угодно знать, как начинается любовь, то пусть читает романы и драматические повести, а я скажу только немного и словами все того же глупого романа:

Знать увидел вас
Я не в добрый час...

Все полетело к четырем вершинам концом вниз...».

Вот так расскал! О самом главном, что должно бы составить его сюжет, автор ничего не хочет рассказывать. «Не помню, что было потом...» Но читателю, оказывается, и не нужно ничего больше знать. Жизнь человека вдруг открылась на миг вся, целиком, как одиночное дерево во время грозы, озаренное молнией. И потаска. И читатель все понял сердцем.

Он не понял только одного: как добился писатель этого чуда, этого впечатления при помощи грубых, обикновенных слов?

Чехов писал не о человечестве, не о людях. Его интересовало не бытие человека, а жизнь его. Жизнь одного, конкретного человека: например, дядя Вани. И все дяди Вани мира ответили трепетом и слезами, когда он написал об одном из них.

Он исследовал души. Эта область для исследования безгранична. Вот мы расщелили аматор, стрелки в космос, достигли фантастических чудес в науке и технике, но душа человека — единственный человек, какого-нибудь дядя Вани — по-прежнему остается самым скрытым и загадочным явлением природы. Мы будем еще много веков узнавать себя и удивляться. А значит будем читать Чехова.

Разве не удивительно: нам, советским людям, понятия и близких мысли и чувства чеховских героев! Ведь наша страна изменилась неизвестно, изменились наравне, быт людей, строй жизни, весь мир. Но неизменяется сердце грустя, не безнадежная мечтательность чеховских героев делают их такими близкими. Нас волнует другое. Мы чувствуем исходящий из чеховских рассказов и пьес страстный призыв: «Люди, сделайтесь лучше! Будьте добре, красните, читите! Ставьте чистоту!»

Этот призыв к совершенству и счастью, открывший все творчество Чехова, будет волновать людей всегда. Ибо всегда человек будет стремиться стать лучше.

Ю. ТРИФОНОВ



Сони (арт. Лу Си).

Рис. худ. Ху Као

Чтобы так загадочным образом — я тогда не понимал, почему — его творчество мы подчинились там охотно и радостно, как не подчинились бы самым громким, нравоучительным зулугам. Казалось бы, весь поклоненный своей гениальностью живописью, он меньше всего притязал на роль провопедика.

Изучая Чехова, я вижу, что он не только драматический элемент. Сегодня для литераторов на родине Китая Чехов по-прежнему остается верным учителем и другом. Цао Юй, например, изучает его ныне в подлиннике, часто прослушивает пастушки с записью чеховских спектаклей в исполнении артистов МХАТа. У Чехова, говорит Цао Юй, надо учиться так же глубоко знать сегодняшнюю жизнь, как знал он жизнь своей эпохи.

Ю. ТРИФОНОВ

Чтобы так загадочным образом — я тогда не понимал, почему — его творчество мы подчинились там охотно и радостно, как не подчинились бы самым громким, нравоучительным зулугам. Казалось бы, весь поклоненный своей гениальностью живописью, он меньше всего притязал на роль провопедика.

Главная беда этих книг была в том, что к началу девяностых годов из слова «идеал» уже окончательно вывернулось его прежнее значение, которое было присуще ему в шестидесятых и семидесятых годах, и в пору моей юности оно уже стало абстракцией, лишенной какого бы то ни было реального смысла. Уже на Надсоне оно звучало пустышкой — лишь как неизменная рифма к столь же абстрактному слову «Ваал».

Вообще так называемая «идеальная» живописная в шестидесятых годах повесть Чернышевского, Помяловского, Василия Слепцова, насыщенная классовой борьбой той великой эпохи — превратилась у лигионов народничества в пустоторожнюю схему, по существу глубоко реакционную, лживую, приманчивую лишь для бездарных писак.

...В чем видели современники Чехова силу и красоту его творчества, — особенно рельефноказалось в тех статьях и сихах, которые были вызваны смертью писателя.

Один стихотворец, например, говорил:

Спи с миром, великий и чистый певец Великой и чистой печали...

И другой вслед за ним — слово в слово:

Так ты учи, певец печали,
Певец песни страны родной,
И струны чисты риды,
И мы рыдали за тобой.

И третий, и четвертый, и пятый, и шестой — все они славили Чехова как самого слезливого плачальщика:

И ищут ума, и сони беззлатный,
И скучу жизни всей слезами грешат.

Я нарочно цитирую здесь не самые позитивные, а массовый дружный хор дюжинных, гуртовых, беззлатных, почти беззлатных писателей, которых я называю, так сказать, подголосками общеизвестных идей своей эпохи, всегда воспроизводящихся с манчестерской точностью общеподзатыльные иллюзии, предсказанные чеховскими живописцами. Вообщем, проповедь этих правочувствующих писак была так трафаретна, схематична, называвшая, что из молодого протеста

Именно в силу их беззлатия и дюжин-

Янка БРЫЛЬ

Читать и перечитывать...

ОБЯТЕЛЬНЫЙ образ одного из самых человеческих писателей земли вдохновляет нас и наших зарубежных друзей на борьбу за лучшее будущее.

Как тут не вспомнить Толстого: «Чехов... несовременный художник... да, да... Именно несовременный художник... художник жизни... И достоинство его творчества то, что оно понятно и сродно не только всякому русскому, но и всякому человеку вообще... А это главное...»

И еще: «...Он один из тех редких писателей, которых... можно много раз перечитывать, — я это знаю по собственному опыту...» Невольно вспоминается один как будто незначительный случай. Родной человек приехал ко мне с Урала в Минск редактором и долгожданным гостем. Хотел со мной по музей и театрам, смотрел наш новый город, многим восхищался. А потом вдруг этот человек — не литератор, инженер, влюбленный в свою энергетику труда, — сказал:

«Давай, брат, сегодня никуда не пойдем, сядем да почитаем Чехова...»

И мы читали «Варгаге» в настольной лампе, в каком-то небывалом уютном полуправке пустой комнаты. Взяли с полки первый попавшийся под руку том, зацепились за первый разговор.

Невольно вспоминается один как будто незначительный случай. Родной человек приехал ко мне с Урала в Минск редактором и долгожданным гостем. Хотел со мной по музей и театрам, смотрел наш новый город, многим восхищался. А потом вдруг этот человек — не литератор, инженер, влюбленный в свою энергетику труда, — сказал:

«Давай, брат, сегодня никуда не пойдем, сядем да почитаем Чехова...»

И мы читали «Варгаге» в настольной лампе, в каком-то небывалом уютном полуправке пустой комнаты. Взяли с полки первый попавшийся под руку том, зацепились за первый разговор.

Невольно вспоминается один как будто незначительный случай. Родной человек приехал ко мне с Урала в Минск редактором и долгожданным гостем. Хотел со мной по музей и театрам, смотрел наш новый город, многим восхищался. А потом вдруг этот человек — не литератор, инженер, влюбленный в свою энергетику труда, — сказал:

«Давай, брат, сегодня никуда не пойдем, сядем да почитаем Чехова...»

И мы читали «Варгаге» в настольной лампе, в каком-то небывалом уютном полуправке пустой комнаты. Взяли с полки первый попавшийся под руку том, зацепились за первый разговор.

Невольно вспоминается один как будто незначительный случай. Родной человек приехал ко мне с Урала в Минск редактором и долгожданным гостем. Хотел со мной по музей и театрам, смотрел наш новый город, многим восхищался. А потом вдруг этот человек — не литератор, инженер, влюбленный в свою энергетику труда, — сказал:

«Давай, брат, сегодня никуда не пойдем, сядем да почитаем Чехова...»

И мы читали «Варгаге» в настольной лампе, в каком-то небывалом уютном полуправке пустой комнаты. Взяли с полки первый попавшийся под руку том, зацепились за первый разговор.

Невольно вспоминается один как будто незначительный случай. Родной человек приехал ко мне с Урала в Минск редактором и долгожданным гостем. Хотел со мной по музей и театрам, смотрел наш новый город, многим восхищался. А потом вдруг этот человек — не литератор, инженер, влюбленный в свою энергетику труда, — сказал:

«Давай, брат, сегодня никуда не пойдем, сядем да почитаем Чехова...»

И мы читали «Варгаге» в настольной лампе, в каком-то небывалом уютном полуправке пустой комнаты. Взяли с полки первый попавшийся под руку том, зацепились за первый разговор.

Невольно вспоминается один как будто незначительный случай. Родной человек приехал ко мне с Урала в Минск редактором и долгожданным гостем. Хотел со мной по музей и театрам, смотрел наш новый город, многим восхищался. А потом вдруг этот человек — не литератор, инженер, влюбленный в свою энергетику труда, — сказал:

«Давай, брат, сегодня никуда не пойдем, сядем да почитаем Чехова...»

И мы читали «Варгаге» в настольной лампе, в каком-то небывалом уютном полуправке пустой комнаты. Взяли с полки первый попавшийся под руку том, зацепились за первый разговор.

Невольно вспоминается один как будто незначительный случай. Родной человек приехал ко мне с Урала в Минск редактором и долгожданным гостем. Хотел со мной по музей и театрам, смотрел наш новый город, многим восхищался. А потом вдруг этот человек — не литератор, инженер, влюбленный в свою энергетику труда, — сказал:

«Давай, брат, сегодня никуда не пойдем, сядем да почитаем Чехова...»

И мы читали «Варгаге» в настольной лампе, в каком-то небывалом уютном полуправке пустой комнаты. Взяли с полки первый попавшийся под руку том, зацепились за первый разговор.

Невольно вспоминается один как будто незначительный случай. Родной человек приехал ко мне с Урала в Минск редактором и долгожданным гостем. Хотел со мной по

